



# ВОЗВРАЩЕНЦЫ

ГДЕ ХОРОШО, ТАМ И РОДИНА



СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

НАРОД ПРОТИВ

# Станислав Юрьевич Куняев

## Возвращенцы. Где хорошо, там и родина

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=16898948](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=16898948)*

*Возвращенцы. Где хорошо, там и родина: Алгоритм; Москва; 2006*

*ISBN 5-9265-0239-X*

### Аннотация

Как в конце XX века мог рухнуть великий Советский Союз, до сих пор, спустя полтора десятка лет, не укладывается в головах ни ярых русофобов, ни патриотов. Но предчувствия, что стране грозит катастрофа, появились еще в 60–70-е годы. Уже тогда разгорались нешуточные баталии прежде всего в литературной среде – между многочисленными либералами, в основном евреями, и горсткой государственников. На гребне той борьбы были наши замечательные писатели, художники, ученые, артисты. Многих из них уже нет, но и сейчас в строю Михаил Лобанов, Юрий Бондарев, Михаил Алексеев, Василий Белов, Валентин Распутин, Сергей Семанов... В этом ряду поэт и публицист Станислав Куняев. Его книга – о непрекращающейся войне и на новом витке истории. Книга известного русского поэта, публициста и общественного деятеля Станислава Куняева посвящена как и почти все его произведения теме Родины,

тому как относятся к России, к русской культуре различные представители творческой интеллигенции Автор убедительно доказывает, что для многих из них, особенно из числа еврейской интеллигенции, Россия и русский народ являются в лучшем случае отвлеченными понятиями а в худшем – вызывают неприятие доходящее до ненависти к нашей Родине. В сущности, эти творческие деятели всегда имели двойное гражданство и как только представилась возможность немедленно покинули нашу страну, забыв о своих былых верноподданнических уверениях.

# Содержание

Часть I	5
«Наш первый бунт»	5
Конец ознакомительного фрагмента.	48

# **Станислав Юрьевич Куняев Возвращенцы. Где хорошо, там и Родина**

## **Часть I**

### **«Наш первый бунт»**

Многие функционеры идеологической и литературной жизни 60–80-х годов, которые всеми средствами боролись с нами в те времена, сегодня издали свои воспоминания. Читаешь Александра Борщаговского, Раису Лерт, Раису Орлову-Копелеву, Льва Копелева, Анатолия Рыбакова, Льва Разгона, Михаила Козакова (всех не перечислить, имя им легион), и у всех, когда речь заходит о нашем противостоянии, одно и то же: «антисемитизм, антисемитизм, антисемитизм».

Однако, восстанавливая в памяти атмосферу тех лет, вспоминая наши разговоры о Даниэле и Синявском, о Бродском, о Галиче, о «Метрополе», о Тарсисе, о бегстве Анато-

лия Кузнецова за рубеж, могу, положив руку на сердце сказать: главная наша забота была не о том, кто из диссидентов еврей, а кто нет... Мы с той же недоверчивостью и отчужденностью относились к диссидентам-нееврейям: Виктору Некрасову, Владимиру Максимову, Андрею Синявскому, Александру Зиновьеву, Эдуарду Лимонову, генералу Григоренко, Анатолию Марченко.

Русские писатели отстранились от диссидентов и не принимали их лишь потому, что чувствовали: воля и усилия этих незаурядных людей разрушают наше государство и нашу жизнь. Мы были стихийными, интуитивными государственниками, еще не читавшими Ивана Солоневича и Ивана Ильина, но уже тогда осознававшими, какие страшные жертвы понес русский народ за всю историю, и особенно в XX веке, строя и защищая свое государство; и как бы предчувствуя кровавый хаос, всегда возникающий на русской земле, когда рушится государство, как могли, боролись с вольными и невольными его разрушителями. И не наша вина, что авангард разрушителей состоял в основном из евреев, называвших себя борцами за права человека, социалистами с человеческим лицом, интернационалистами, демократами, либералами, рыночниками и т. д. Мы уже знали, что, когда им нужно защитить их общее дело, тогда их общественно-политические разногласия как по команде забываются, и евреи-коммунисты вдруг становятся сионистами, интернационалисты – еврейскими националистами, радетели «со-

ветской общности людей» эмигрируют в Израиль, надевают ермолку и ползут к Стене Плача.

Сегодня им скрывать нечего, и они во множестве своих мемуаров откровенно пишут о том, какими чувствами и мыслями жил в 60–80-е годы их круг, избравший своим гимном песенку Окуджавы «Возьмемся за руки, друзья...».

Я принадлежал к довольно распространенной в художественных кругах России группе населения, – пишет в своих мемуарах актер Михаил Козаков. – Как ее определить – право, не знаю, Галина Волчек, Игорь Кваша, Ефим Копелян, Зиновий Гердт, Александр Ширвиндт, Марк Розовский, Михаил Ромм. Анатолий Эфрос... Фамилии и примеры позволительно множить вне зависимости от процента еврейской крови, вероисповедания или атеистического направления ума... Я не скрывал, что во мне есть еврейская кровь, как и другие, ненавидел и презирал антисемитизм и антисемитов.

Как и другие из нашего круга, спотыкался на юдофобии любимейших Чехова и Булгакова, гордился успехами Майи Плисецкой, Альфреда Шнитке или Иосифа Бродского...

Сейчас люди вроде Михаила Козакова с удовольствием выбалтывают многие тайны и секреты жизни своего круга, тайны, тщательно скрываемые от мира в те времена.

А если кто-то на нас догадывался, какие страсти кипят в этом кругу «взявшихся за руки», и, не дай Бог, открыто говорил или писал об этом, какой ор, какой возмущенный вопль

исторгался из недр еврейской компашки! Все сразу вспоминали их адвокаты – и то, что они советские, и то, что отцы были пламенными революционерами, и что дружба народов – святая святых вашего общества, и что нечего «разделять людей по национальному признаку».

А теперь что? Теперь можно обнародовать изнанку той жизни, и Михаил Козаков с удовольствием обнародует ее:

В начале 70-х уезжал художник Лев Збарский. Было ему тогда около сорока. Талантливый театральный художник, востребованный книжный график, огромная мастерская в центре Москвы, деньги, машины, лучшие женщины, модный художник, модный человек. Я задал ему тогда сакраментальный вопрос: «Почему, Лева?» Он: «Да, все это у меня здесь есть, если не все, то многое из тобой перечисленного. Более того, не знаю, что ждет меня там. (Збарский уезжал в Израиль, потом уже переехал в Америку, где и живет по сей день. – Ст. К.) Но как бы тебе это поточнее...

Понимаешь, это кино мне уже показывали. Остается только его досмотреть. А вот того я еще не знаю...

Нет, молодец Александр Куприн. Хорошо он знал их натуру. Как эта история Збарского и людей, ему подобных, их отношение к России, похожа на историю, рассказанную Куприным в знаменитом и скандальном его письме к Ф. Батюшкову, написанной аж в 1909 году:

Один парикмахер стриг господина и вдруг, обкорнав ему полголовы, сказал «извините», побежал в угол мастерской и



стал ссать на обои, и когда его клиент окоченел от изумления, Фигаро спокойно объяснил:

– Ничего-с. Все равно завтра переезжаем-с.

Таким цирюльником во всех веках и во всех народах был жид со своим грядущим Сионом.

Вот эти слова «все равно завтра переезжаем-с» глубоко запали мне в память. Лев Збарский, Лев Копелев, Василий Аксенов, Анатолий Гладилин – все они в определенный момент начинали вести себя как цирюльник из купринского письма... Как будто из какого-то тайного центра прозвучал тайный приказ, и все они, как муравьи, послушно переменили взгляды, убеждения, чувства.

Мы так не умели и не могли. В этой способности коллективного лицедейского перевоплощения в зависимости от исторических обстоятельств была циничная сила людей подобного склада. Ведь почти все они дети «пламенных революционеров», пропагандистов социализма, секретарей обкомов, певцов ГУЛАГа.

Отец Михаила Козакова, так же как отцы Натана Эйдельмана или Юрия Нагибина, славили Беломорканал, отец Льва Збарского бальзамировал Ленина, сам Михаил Козаков с необыкновенной страстностью и талантом всю жизнь играл Дзержинского... Э! Да что говорить! Плохо мы их знали в те годы...

Но, к сожалению, и с русскими националистами вроде Леонида Бородина и Владимира Осипова мы не могли окон-

чательно породниться, потому что их «русское диссидентство» по-своему тоже было разрушительным, а мы стремились к другому: в рамках государства, не разрушая его основ, эволюционным путем изменить положение русского человека и русской культуры к лучшему, хоть как-то ограничить влияние еврейского политического и культурного лобби на нашу жизнь. Нам казалось, что шансы для такого развития событий у истории есть... И они были. Разрушать же государство по рецептам Бородина, Солженицына, Осипова, Вагина с розовой надеждой, что власть после разрушения перейдет в руки благородных русских националистов? Нет, на это мы не могли делать ставку. Слишком высока была цена, которую пришлось бы заплатить в случае поражения.

Кстати, именно такую цену за совершившуюся антисоветскую авантюру наше общество и ваш народ и платит сегодня.

А с русскими диссидентами нас разделяло то, что мы ни при каком развитии событий не могли и помыслить о том, что можем уйти в эмиграцию и покинуть вашу страну. Мы не могли, живя в СССР, позволить себе каприза печататься за границей. Это было чревато вынужденной или добровольной эмиграцией. Такой вариант судьбы мы отвергали сразу», и это резко отделяло нас от «русской национальной диссидентуры».

Мы хотели, чтобы ваши взгляды распространялись на родине открыто, и раздвигали границы гласности у себя дома. Пути «подполья», по которым шли журнал «Вече» или

ВСХСОН, казались нам сектантскими и в той или иной степени объективно смыкавшимися с путями правозащитных организаций, «хельсинкских групп», Солженицынского фонда и т. д.

А еврейское лобби, чувствуя все нарастающую поддержку «мирового сообщества», наглело все больше и больше. Я помню, в какое бешенство я пришел, прочитав исповедь какого-то полупоэта-полупублициста В. Хазанова (Файбисовича), эмигрировавшего в начале 70-х в Европу. Он плакался об утрате России такими словами:

Мы бы не ощущали так живо свою утрату, если бы не были наследниками великой и рухнувшей культуры. А мы ее наследники, пусть оскуделые и полузаконные, но наследники. Недаром мы говорим по-русски лучше, чем большинство русских.

И это говорилось с фарисейской ядовитой кротостью в годы, когда лучшие свои книги писали Василий Белов, Федор Абрамов, Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Юрий Казаков, Юрий Кузнецов, Николай Тряпкин! Поистине было отчего людям легковоспламеняющимся, вроде меня, прийти в ярость. Тем более что Хазанов в своей закомплексованной гордыне проговорился о многом, о чем мы лишь догадывались:

Заполнив вакуум, образовавшийся после исчезновения старой русской интеллигенции (как мягко и обтекаемо сказано, как будто не было чекистских погромов этой интелли-

генции в 20–30-е годы под руководством Троцкого, Ягоды, Френкеля, Ярославского, Агранова и т. д.! – Ст. К.), евреи сами стали этой интеллигенцией. При этом, однако, они остались евреями.

Нет, терпеть такие унижения было невозможно...

Для того чтобы показать, как созревало мое национальное самосознание в 70-х годах, приведу выписки из дневника тех лет:

16.01.1971 г. В сегодняшней «Правде» статья о Солженицыне. Дело идет к тому, что его вышлют на Запад. Как бы я ни ценил его талант – приходится признать, что он не в себе: не понимает, что обратного пути нет, что приходится жить в той России, которая есть и будет, думать о ее будущем, а не о прошлом...

История с Сахаровым и Солженицыным, которых наше могучее государство не может ни замолчать, ни посадить, ни выгнать за границу, ни убить, ни опубликовать – необыкновенно интересное свидетельство нынешнего нашего положения.

Хочется быть демократическим государством, а не можем. Не растет это дерево на русско-советской почве. У демократии, несмотря на все ее безобразия, есть свои правила игры, а мы хотим поиграть в нее, но не до конца, а до середины.

Впрочем, неизвестно, что лучше. Пока в обществе есть силы и ситуации, создающие напряженность духовной жизни.

ни, я, как художник, чувствую себя необходимым. Что толку, если я смогу говорить, что хочу, а меня слушать будет некому? Останется разве что детективы сочинять?

18.01.1974 г. Рубцов похоронен, Передреев пьет и разрушается. Немота овладела им. Игорь болен, и не видно про света в его болезнях. Соколов слишком устал от своей жизни. Неужели мне придется в старости, если доживу до нее, залезть в нору, как последнему волку, и не высовываться до конца дней своих?

25.01.1974 г. То, что Блок, будучи, по существу, антисемитом, ни разу в своем творчестве этого не обнаружил (а только в записных книжках и дневниках) – не случайно. Дело не в страхе. Блок ничего не боялся. Да и не стыдился он перед собою этого чувства. Но обнаруживать это чувство – значило скатываться к тем слоям общества, которых либеральная часть его души не принимала. Но нельзя забывать и о другом. Блок перед смертью пересмотрел тщательным образом все свои записные книжки и дневники. Все, что он не хотел оставлять для изучения потомков – уничтожил.

Но антиеврейские страницы оставил. В этом тоже есть какая-то тайна и какой-то завет.

26.01.1974 г. Литература русская гибнет, с одной стороны, от постоянной административной обработки наших чиновников, чаще всего русских по происхождению. А с другой – от еврейской отравляющей воздух беллетристики, от многонациональной переводной болтушки для свиней, изготов-

ленной по ихнему рецепту. Обе эти силы прекрасно знают о существовании и деятельности друг друга. Сферы их влияния поделены, и никогда они не подымут руку друг на друга.

Ворон ворону глаз не выклюет.

16.02.1974 г. Читаю рукопись какого-то еврея-физика о России, о Советской власти, научно-техническом прогрессе, морали и т. д. (Витя Гофман подсунул, он в восторге). Главная идея такова: русское дворянство и народ никогда не сливались в одну нацию. В сущности это всегда были две нации. Немудреный подтекст: русским народом можно властвовать кому угодно – варягам, татарам, немцам, почему бы, в новых условиях не евреям? Но за всеми доказательствами, силлогизмами, аналогиями слышится приглушенный вопль: «Не удалось превратить Россию в землю обетованную! Со-о-орвало-о-сь! Что-о-оже дела-а-ть?!»

29.02.1976 г. Звонит Анатолий Клитко. Звонит раз в 6 лет: «Лица человеческого жажду. Коржев приезжал – нет уже на нем лица. Надо встретиться. Книжку твою прочитал. Вспомнил Вазир Мухтара. Слом времени. Новые люди приходят. Нет им дела ни до чего старого».

...Звонки наших алкоголиков для меня дороже любых статей о моем творчестве.

9.08.1976 г. Умер Михаил Луконин. Верченко на заседании похоронной комиссии упрекал директора Литфонда за то, что последний не гарантирует доставку гроба точно к 10.00.

– Хочу вам еще раз напомнить, что похороны эти не простые, а государственные...

Одна строчка есть у Луконина по поводу того, о чем он не хотел думать: «Я падал вверх».

16 мая 1977 г. Недоумение Слуцкого по поводу того, откуда «антисемитизм Станислава» – от Достоевского или Палиевского – наивно: от русофобства 20–30 годов, от национального чувства, уязвленной массовой эмиграцией еврейства после 67 года, после арабо-израильской войны. А Достоевского я читал гораздо раньше, но одно дело читать, другое быть свидетелем исторических сдвигов.

В конце 1977 года произошло событие, властно повлиявшее на мои чувства. В Таджикистане погиб мой лучший друг, поэт и геолог Эрнст Портнягин, с которым я дружил более пятнадцати лет, бок о бок с которым провел несколько полевых сезонов в горах Тянь-Шаня. Он был русским по матери и евреем по отцу. Подчеркиваю это, чтобы еще раз показать: какая кровь текла в жилах моих друзей – не имело для меня значения. Эрик был русским поэтом, русским патриотом и русским государственным.

Когда мы хоронили его в запаянном цинковом гробу на Хованском кладбище, я подумал: «Вот так и со мной может произойти. Несчастный случай – и все годы, которые ты готовил себя к большому делу, к борьбе за судьбу русской культуры и, может быть, за судьбу России, – все пойдет псу под хвост. Надо действовать, пока есть силы, пока не поздно».

Потому в конце 1977 года, когда Вадим Кожин повзвонил мне и предложил выступить в дискуссии, которая называлась коротко и емко: «Классика и мы», я решил бросить этой мафии в лицо все, что думаю о ней. Спасибо Кожину, организовавшему наш бунт.

Мне ничего и не приходилась сочинять для этой дискуссии. Все дело в том, что незадолго до нее я прочитал книгу «Воспоминания о Багрицком», в которое авторы (Антокольский, Тарловский, Сельвинский, Колосов, Гинзбург и другие) без стыда и чувства меры сравнивали его с Пушкиным, Блоком, автором «Слова о полку Игореве», Ильей Муромцем, называя «гением», «классиком», «великим лириком», вошедшим в историю «советской и мировой литературы». Я подумал: нет худа без добра! Они, как всегда, зарвались и дали мне повод для открытого боя.

Я написал большую статью об этой книге воспоминаний, искреннюю, живую, доказательную, но, пойдя по журналам, обнаружил: все «русские» журналы боятся ее печатать. Я ткнулся в двери изданий среднелиберального характера, но и там мне дали от ворот поворот. И вот возникла возможность обнародовать все свои мысли с трибуны. Необычный сценарий увлек меня. Однако я колебался, чувствуя, что близок выбор, который определит дальнейшую судьбу.

То, что я, бывший тогда одним из рабочих секретарей Московской писательской организации, могу потерять свою должность, кресло, зарплату в триста рублей, некоторое вли-



вание на литературно-издательскую жизнь, — меня не тревожило. Я, честно говоря, тяготился я рутинной работой и правилами игры, которые должен был соблюдать.

Да и попал в это кресло, как сейчас понимаю, случайно. Мой предшественник Михаил Львов ушел в «Новый мир» к своему другу Наровчатову, надо было срочно кого-то сажать на рабочее место, и первый секретарь Московской писательской организации прозаик Сергей Смирнов, автор знаменитой тогда «Брестской крепости», будучи уже смертельно больным человеком, недолго думая, предложил мне, в то время уже имевшему репутацию известного поэта и энергичного человека, эту номенклатурную должность... Я пошел туда ради интереса, поглядеть, что такое служба, но по душе и по природе оставался «вольным охотником», авантюристом и независимым человеком. «Так что Бог с ней, с этой работой, коль события примут крутой оборот», — подумал я и принял решение выступить на дискуссии.

Однако у меня был и второй вариант выступления. В нем я готов был высмеять и дискредитировать, насколько мне это удастся, практику неестественного создания руками мощного еврейского переводческого клана живых классиков из писателей национальных республик. Помню, как меня всегда коробила фотография в коридоре Союза писателей СССР, на которой были изображены два Героя Социалистического Труда — русский Михаил Алексеев и аварец Расул Гамзатов. Фотограф схватил тот момент, когда Алексеев выглядыва-

ет откуда-то, чуть ли не из подмышки Гамзатова, смотрит снизу вверх каким-то подобострастным взором, а над ним, как глыба, с толстомордой, обросшей короткой шерстью головой, с узенькими глазами-щелочками, возвышается Расул. Ну, прямо как будто только вчера произошла битва при Калке, после которой русские пленные князья были раздавлены «задами тяжкими татар»!

Всем нам была известна механика энергичного и ловкого создания из порой беспомощных подстрочников переводных книг среднего версификационного уровня, за которые Гамзатов, Мирзо Турсун-заде, Давид Кугультинов, Зульфия, Наби Хазри. Петрусь Бровка и прочие усилиями двух Яковов – Хелемского и Козловского, Юлии Нейман, Наума Гребнева, Давида Самойлова, Александра Межирова, Юнны Мориц, Семена Липкина и прочих деятелей из переводческого клана получали внеочередные издания, собрания сочинений, лауреатские медали, баснословные гонорары, звания академиков и секретарей, квартиры, дачи, автомашины и прочее и прочее. Замахнувшись на этих фанерных, наспех сколоченных классиков, думал я, можно нанести удар по переводческой мафии, можно перераспределить часть изданий и средств на нужды русских писателей, особенно провинциальных. Да по сравнению с «национальными классиками» многих замечательных русских писателей и поэтов 50–80-х годов – Заболоцкого, Мартынова, Смелякова, Сергея Маркова, Дмитрия Балашова власть держала все-таки в чер-

ном теле. Я хорошо был подготовлен к этому восстанию. Одно только количество изданий дагестанских, калмыцких, таджикских, узбекских классиков должно было поразить слушателей – по восемьдесят, по девяносто, а то и по сто книг за двадцать – тридцать лет литературной жизни... По 3–4 издания в год! Во много раз больше, нежели у Ахматовой, Заболоцкого, Мартынова...

На трибуну я поднимался, имея в руках текст двух выступлений, но в голове все время крутилась мысль: «Да, восстание против гипертрофированного засилья «националов» дело необходимое, но...

не самое главное.

Скандал будет большой, поскольку эти бонзы открывают дверь ногой в любой из кабинетов ЦК, а толку будет мало. Главные корни нынешней скрыто-русофобской идеологии растут в другой почве и питаются другими соками...»

И когда с трибуны я оглядел зал, еще шумящий, волнующийся, негодующий или тайно радующийся – от возбуждения, которое вызвала расколовшая его пополам дерзкая речь Палиевского, когда я увидел на кромке сцены несколько работающих на историю магнитофонов, когда столкнулся глазами в глаза со взглядами, излучающими страх и ненависть, и просто физически ощутил энергию зала, давящую на меня, – я положил перед собой страницы своей главной речи.

Особенность дискуссии «Классика и мы» была в том, что наша сторона сама пригласила на поединок сильнейших про-

тивников из враждебного стана.

Вот передо мной их фамилии из списка, отпечатанного на пригласительном билете: А. Борщаговский, В. Евтушенко, С. Машинский, П. Николаев, А. Эфрос, В. Шкловский. И председательствовал, и вел собрание их человек – Евгений Сидоров. Мы не боялись их, поскольку были уверены, что правда на вашей стороне и что в открытой дискуссии победа, несмотря на возможные издержки, останется за нами.

Соперника же наши в своих акциях поступали совершенно иначе: вспомним хотя бы историю с «Метрополем», в котором участвовали лишь свои и на страницах которого немыслимы были ни дискуссии, ни выяснение истины. А мы действовали простодушно, открыто, по-русски, следуя завету князя Святослава, предупреждавшего своих врагов: «Иду на вы!»

Однако мне пора обратиться к магнитофонной записи <sup>1</sup>.

...Я не раз задумывался о том, что такое связь сегодняшней литературы с классикой, как она обнаруживается и где ее искать. Наверное, я бы не стал выступать на нашей дискуссии, если бы однажды не прочитал объемистую книгу – «Эдуард Багрицкий. Воспоминания современников». «Советский писатель», 1973.

Многое в этой книге мне показалось интересным, многое – спорным, многие выводы надуманными... Приведу пока, чтобы не быть голословным, несколько цитат из этого изда-

---

<sup>1</sup> Далее приводятся отрывки из выступления Ст. Куняева. – Ред.

ния.

Дальше в своих рассуждениях я также не раз буду опираться на него.

По живому чувству природы стихи Багрицкого равны лучшему, что было в русской поэзии, – Тургеневу, Фету, Бунину (Антокольский).

Был, впрочем, один поэт, которому очень сродни Багрицкий в своем подходе к животному миру... это был безымянный автор «Слова о полку Игореве» (Марк Тарловский).

Недавно я снова прочитал поэму «Человек предметя»... эта поэма, и с нею «Последняя ночь» и «Смерть пионерки», составляющие как бы первую и последнюю ступени поэтической ракеты, которая была запущена в историю советской и мировой литературы... (Марк Колосов).

На время прерву подобные цитаты. Похожих в этой книге очень много.

Я задумался после чтения всего этого вот о чем.

Одной из постоянных нравственных и эстетических традиций в мире русской поэзии было приятие всего, что поддерживает на земле основы жизни. Ежедневная работа по добыванию хлеба насущного, приятие относительно устойчивых форм быта, сложившегося на просторах нашей земли, тучная материальная почва, на которой со временем произрастал громадный густой смешанный лес русской культуры. «Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь...». Не только крестьянин, но и Пушкин радуется зиме,

дровням, мальчику, играющему в снежки, здоровью, праздничности первоснежья и работы.

А демонический Лермонтов? С каким вздохом облегчения спускается он на грешную землю:

С отрадой, многим незнакомой,  
Я вижу полное гумно,  
Избу, покрытую соломой,  
С резными ставнями окно...

А Сергей Есенин, приехавший в родную деревню как иностранец – в английском костюме, в лайковых перчатках, в кепи или в цилиндре, вдруг преображался, чтобы выдохнуть из глубины души:

Каждый труд благослови, удача —  
Рыбаку, чтоб с рыбой невода,  
Пахарю, чтоб плуг его и кляча  
Доставали хлеба на года...

Словом, вот такой подход к этой теме – один из краеугольных камней поэтической традиции нашей классики. И, заново перечитав Багрицкого, я вдруг увидел, что именно этот взгляд странен и чужд его творчеству.

Самые естественные и необходимые для жизни дела воспринимаются поэтом как нечто требующее поголовного осуждения, гонения, уничтожения...

Эта ненависть приобретает фантастические формы, которые, к сожалению, нельзя списать за счет лирического героя.

Он вздыбился из гущины кровей,  
Матерый желудочный быт земли.  
Трави его трактором. Песней бей.  
Лопатой взнуздай, киркой проколи!  
Он вздыбился над головой твоей —  
Прими на рогатину и повали.

...В стихотворении «ТВЦ» есть несколько формул, которые имеют прямое отношение к пониманию совести и нравственности, то есть проблемам, которыми всегда жила наша классика:

Оглянешься – а вокруг враги;  
Руки протянешь – и нет друзей;  
Но если он (век имеется в виду. – Ст. К.)  
скажет: «Солги», – солги.  
Но если он скажет: «Убей», – убей.

Натуралистическая точность, в которую поэт облакает эти формулы, неотделима от жестокости. И в этом также сказался его полный разлад с русской поэзией. Рассуждения поэта о врагах больше похожи на речи обвинителя, чем на слова поэта.

Их нежные кости сосала грязь,

Над ними захлопывались рвы,  
И подпись на приговоре вилась  
Струей из простреленной головы.

Странно, что эти строки написаны, как мне кажется, чуть ли не с каким-то садистским удовольствием. Странно думать, что человек, приводящий приговор в исполнение, может ощущать плодотворную радость расправы, и что более всего странно – поэт вроде бы почти разделяет эту радость...

Это все весьма далеко от пушкинского, что в «мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». Можно вроде бы возразить: времена другие и понятия о добре и зле иные. И сдается, что не было места в те годы для пушкинского гуманизма. Так-то оно так, да не совсем. Разве не в те же годы творили Ахматова и Заблоцкий, во многом являющиеся для нас символами этической и эстетической связи с классикой? Разве не в то же суровое время Сергей Есенин, словно бы мимоходом, оброняет:

Не злодей я и не грабил лесом,  
Не томил несчастных по темницам...

Но во имя чего же поэт пошел на разрыв с этими великими традициями русской поэзии? Пожалуй, яснее всего об этом сказано в поэме «Февраль», являющейся, так сказать, его завещанием.

Апологеты Багрицкого, говоря об этой поэме, отделява-



ются эпитетами – «гениальная, эпохальная», не раскрывая ее сути. В ней же повествование ведется от имени неуклюжего юноши, романтика, птицелова, ущемленного своим происхождением, тяготами военной службы, неразделенностью юношеского чувства к гимназистке. «Маленький мальчик», «ротный ловчила», на котором неуклюже сидит военная форма, которому неуютно в этом мире, который мечтает «о птицах с нерусскими именами, о людях с неизвестной планеты, мире, в котором играют в теннис, пьют оранжад и целуют женщин». Мир, полный романтического комфорта – вот что нужно ему, чтобы преодолеть свои комплексы.

Время помогает таким, как он, приходит Февральская революция. И сразу же: «кровью мужества наливается тело, ветер мужества обдувает рубашку». Он вступает во все организации, становится помощником комиссара. Появляется в округе вооруженный до зубов, как ангел смерти, окруженный телохранителями. Его превращение из гадкого утенка в карающего орла революции поразительно.

Моя иудейская гордость пела,  
Как струна, натянутая до отказа.  
Я много дал бы, чтобы мой пращур  
В длиннополом халате и лисьей шапке...  
Чтоб этот пращур признал потомка  
В детине, стоящем подобно башне  
Над летящими фарами и штыками.

Поэма кончается тем, что при ликвидации публичного дома лирический герой встречает в числе проституток гимназистку, по которой вздыхал в свои юные годы, и жадно насилует ее.

Я беру тебя за то, что робок  
Был мой век, за то, что я застенчив,  
За позор моих бездомных предков...

Мне думается, что эта фрейдистская, ключевая по сути в поэме, также ключевая для Багрицкого, ситуация никоим образом не соприкасается с пафосом русской классики. Это поистине авангардизм, но уже в нравственной сфере...

Я отдаю себе отчет, что мои мысли достаточно спорны... Сложность посмертной судьбы этого поэта в том, что легенду о нем как классике требуется все время обновлять и подтверждать. Но, как мне кажется, ни в одном из главных планов – гуманистический пафос, проблемы совести, героическое начало, осмысление русского национального характера, связь души человеческой со звеньями родословных, историй, природой – поэзия этого поэта не есть продолжение классической традиции...

Ощущения, которые я испытал, стоя всего-то полчаса на трибуне, незабываемы. То мертвая тишина, когда сидящие в полутемном зале впадают в шок от моих слов и мыслей, совершенно неожиданных и радостных для одних и недопустимых и кощунственных для других. Но вдруг тишина

взрывается рокотом возмущения, а через минуту возгласами отчаянного восторга. В какие-то секунды я просто физически чувствовал, как из темного зала, переполненного лицами, глазами, вздохами, вдруг густой струей прорывается и затекает на трибуну волна ненависти, сменяясь в следующее мгновение теплой волной восхищения. Главное тут каким-то особым инстинктом угадать реакцию зала на твои слова на несколько секунд вперед, подготовиться к ней и внутренне – полной мобилизацией, точным отзывом, и внешне – выражением лица, интонацией голоса, выверенным жестом, правильным междометием или даже ответом на какой-нибудь неожиданный выпад из зала, на который невозможно не ответить.

Всю школу ораторского искусства и поведения на трибуне, всю школу публичного взаимодействия с толпой мне пришлось освоить в экстремальных условиях за какие-нибудь полчаса... Что творилось в полутемном, набитом людьми зале, я, конечно, разглядеть не мог, но, чтобы представить его атмосферу, вспоминаю рассказ сына, как его сокурсница по университету, еврейка, зарыдала после моего жестокого и объективного приговора поэзии Багрицкого.

В перерыве – толпясь в переполненном фойе – одни люди отводили от меня глаза, другие стремились пожать руку, какая-то пожилая седоволосая женщина подошла с березовым туеском в руках и, поклонившись, подарила его мне. Дома, открыв туесок, я обнаружил на дне записку со словами: «От

русских художников за отвагу в неравном бою...». Записка эта до сих пор хранится у меня как медаль или орден.

Блестящую вступительную речь произнес Петр Палиевский. Он закончил ее под аплодисменты, пересказав сцену из фантастической сказки Василия Шукшина «До третьих петухов» о том, как черти, выгнав монахов из монастыря, предложили им переписать иконы и на месте святых изобразить новых хозяев монастыря – чертей. «Бей их!» – закричал вдруг один монах. При этих словах Палиевский демонстративно поглядел на интерпретатора русской классики Эфроса.

Аплодисменты, которые ему достались, наверное, были слышны на улице...

Дискуссия уже не шла, к ужасу Феликса Кузнецова – руководителя московских писателей – она катилась под гору с грохотом, как взрывающийся автомобиль из американского боевика.

Попытавшись остановить катастрофу, он промямлил нечто умиротворяющее: «Мой коллега Станислав Куняев не должен был использовать эту трибуну для того, чтобы обнародовать свою статью... почему необходимо с таким неистовством топтать Багрицкого? Мне это непонятно... если идти таким путем, то мы должны полностью отказаться, скажем, от Мейерхольда. А куда мы денем Маяковского?»

На самом деле хотя ход дискуссии был совершенно неожидан для Кузнецова, наш патриотический Талейран сразу по-

нял, что происходит в зале и на сцене. Он только не понимал мотивов. Позже, в минуты откровенности, редкой для него, он признался:

«Меня ведь только-только выбрали первым секретарем, и я подумал, грешным делом, что, взрывая ситуацию, вы с Кодеиновым и Палиевским копаете под меня...»

В перерыве за кулисами взбешенный то ли нашими выступлениями, то ли своей неудачной речью Эфрос с искаженным лицом закричал, обращаясь ко мне:

– Вы же поэт! Ну и пишите стихи, а в политику и в общественную жизнь не лезьте, не ваше это дело!

С неприсущими ему плачущими интонациями после перерыва на трибуну вылез Евгений Евтушенко и запел ту же песню: «Зачем же сейчас стравливать уже мертвых замечательных художников театра и слова?!» А потом он вообще в горячечной запальчивости понес всякую чушь вроде того, что Шукшин любил Пастернака и Багрицкого, что «патриотизм – это последнее прибежище негодяев», ну и, конечно, про антисемитизм. Как же без этого!

Однако мы с Палиевским получили неожиданную поддержку... Серго Ломинадзе – человек, отец которого в 30-е годы застрелился, а в 40-е сам узнавший вкус лагерной баланды, вдруг резко выступил против Евтушенко, Борщаговского, Эфроса: «Тезис о том, что без интерпретации Эфроса, Любимова и кого бы то ни было классика будет находиться в хрестоматийном небытии, вызывает у меня глубокое него-

дование». (Выкрики.)

В середине дискуссии масла в огонь подлил Евгений Сидоров, который стал вслух перед всем залом извиняться за антисемитскую записку, полученную Эфросом (в ходе его выступления – Ред.) Он не должен был этого делать и доводить еврейскую часть зала до истерики, поскольку такие записки при такого рода атмосфере могут сочиняться кем угодно, в том числе и профессиональными провокаторами...

Прослушиваю магнитофонную запись нашей дискуссии и печалюсь: как изменило, как поломало время людей, как оно сбilo некоторых из них в стан с теми, кого они никогда не любили и не уважали... В годы перестройки ренегатская логика исторических событий объединила Евтушенко и Игоря Золотусского в один лагерь, а ведь на дискуссии нашей Золотусский нашел в себе смелость заявить: «Я верю в искренность Евтушенко, но он не имеет в моих глазах никакого морального кредита... после того, как он написал: «Моя фамилия – Россия, а Евтушенко – псевдоним...» Это не просто личное невежество поэта».

Потряс аудиторию своей бесстрашной и пророческой речью Юрий Селезнев, когда отчеканил: «Мы все ждем, когда будет или не будет третья мировая война, ведем борьбу за мир... Но третья мировая война идет давно, и мы не должны на это закрывать глаза. Третья мировая идет при помощи гораздо более страшного оружия, чем атомная или водородная бомба. Здесь есть свои идеологические нейтронные

бомбы, свое химическое и бактериологическое оружие... И эти микробы, которые проникают к нам, те микробы, которые разрушают наше сознание, гораздо более опасны, чем те, против которых мы боремся в открытую. Русская классическая литература сегодня становится едва ли не одним из основных плацдармов, на которых разгорается эта третья мировая идеологическая война... она должна стать нашей Великой Отечественной войной за наши души, за нашу совесть, за наше будущее, пока в этой войне мы не победим...»

Зал и президиум были совершенно опустошены и измотаны, когда к полуночи на трибуну вышел Вадим Кожин и заявил, что он, «если говорить об антисемитизме, с презрением отвергает истерику, которая здесь по этому поводу совершилась».

Из последних сил от страха и негодования за то, что вроде бы страсти от усталости улеглись, и вдруг опять в доме повешенного заговорили о веревке, Феликс Кузнецов и Евгений Сидоров запричитали, заскулили, заверещали: «Вадим Валерьянович! (Шум.) Во-первых, никто в этом зале истерики по поводу антисемитизма не поднимал! Этого не было!» (Выкрики, аплодисменты.)

В. Кожин: Нет, было! Нет, было! Более того, я склонен думать, что та записка, которая была здесь получена и зачем-то зачитана (шум), написана совершенно в провокационных целях... (Шум, аплодисменты.) Я не верю, я не верю тому, что это написал человек, который хотел выразить свою,

так сказать, какую-то антисемитскую позицию...

Дальше последовал то ли шекспировский, то ли гоголевский диалог, являющийся невольным образцом драматургического жанра:

Ф. Кузнецов: Прошу...

В. Кожинов: Он именно хотел возбудить страсти.

Ф. Кузнецов: Я прошу вернуться к теме дискуссии.

В. Кожинов: Правильно, я о том же.

Ф. Кузнецов. И не нужно опускаться, я бы сказал, до мелких неразрешимых страстей...

В. Кожинов: Правильно, но я...

Ф. Кузнецов: Слава богу, мы ушли от этого и перешли к нормальному профессиональному разговору...

В. Кожинов: Совершенно верно, Феликс, но не я же...

Ф. Кузнецов: Зачем же возвращаться...

В. Кожинов: Не я же эти страсти возбудил...

Ф. Кузнецов: Что значит «не я же...»

В. Кожинов: Но я действительно свое...

Ф. Кузнецов: Я прошу перевести разговор в русло литературы. (Шум, выкрики.)

В. Кожинов: Все правильно, я про то и говорю.

Ф. Кузнецов: А ты свое...

В. Кожинов: А чего «свое»? (Шум, крики.) Ну, знаешь, давно пора все выяснить... Это делает невозможным всякое серьезное обсуждение...

Ф. Кузнецов: Вот именно...



Даже сейчас, спустя двадцать лет после дискуссии, перечитывать ее стенограмму невозможно без волнения. После двенадцати ночи нервы сдали у опытейшего аппаратчика Евгения Сидорова. Когда Кожинов сошел с трибуны, Пупсик (как мы звали Сидорова) сорвался на фальцет:

– Товарищи, я прошу вести себя корректно, мы договорились об этом! Не разжигайте, пожалуйста, страсти!!! Я к вам обращаюсь...

Но страсти уже разжигать было некому. Все валились с ног от усталости. Напоследок я вышел с коротким заключительным словом и сказал, что не принимаю упреки в том, что Багрицкий помер и ничего не может возразить Куняеву, а потому выступление Куняева неэтично.

– Но ведь Чехов тоже помер, – пошутил я, – и ничего не может возразить Эфросу по поводу постановки им «Вишневого сада» или «Трех сестер»...

После полуночи истерзанная переживаниями людская масса, как венозная кровь, вытекла из обескислороженного, душного зала. Шатаясь от усталости, я зашел в полутемный ресторан, где за столиком сидели Татьяна Глушкова и Александр Проханов.

– Волк! – бросилась ко мне навстречу Татьяна. – Вы живы? Я-то думала, что вы не устоите на трибуне, что вас сдует, такая волна ненависти неслась мимо меня прямо на вас...

Мы, все обессиленные, что-то выпили, о чем-то помолчали, и на прощанье Саша Проханов медленно произнес:

– Прямое восстание бессмысленно, надо идти другим путем.

Мои карманы были набиты записками, которые я получил за пять часов пребывания на сцене. Я высыпал их на стол. Взял первую попавшуюся, прочитал вслух:

Стасик! Обнимаю тебя, дорогой. Очень хорошо – сильно, ярко ты выступил о Багрицком – с каждым словом твоим согласен. Творчество Багрицкого враждебно русской поэзии – и классической и современной.

Анатолий Жигулин.

21 – XII – 77 г..

Ах, Толя, Толя! Через пятнадцать лет он полностью перейдет в ренегатский лагерь, напишет драматическую повесть «Черные камни», в которой оболжет своих «подельников», станет на какое-то время послушной игрушкой в руках кукловодов перестройки, которые используют его небольшое имя ради своих целей, свозят пару раз в Европу, а потом предадут нищете и забвению.

Мы расходились с дискуссии со смутным ощущением того, что произошло нечто необъяснимое и роковое, после чего жить по-старому будет невозможно. Моя жена, когда мы подъехали к дому по заснеженной улице, вылезая из машины, потеряла с пальца кольцо с изумрудом... Дурное предчувствие охватило меня, но рано утром я вышел на улицу и в затоптанном снегу – о счастье! – нашел желтое колечко с блеснувшим из белого снега зеленым камушком. Неужели

мы победили?

Советская пресса отозвалась на дискуссию оглушительным молчанием. ЦК, дабы «не раскачивать лодку», запретил упоминать в печати о том, что произошло 21 декабря 1977 года в Центральном доме литераторов.

Однако многие европейские газеты опубликовали иностранные отклики на нее.

Из белградской газеты «Политика» от 15.01.1978 года:

Одна часть публики рукоплескала Палиевскому и Куняеву, другая – Эфросу. И нелегко было бы сказать, у кого из них больше сторонников.

Литературный критик Александр Борщаговский (осужденный в 1949 году за «космополитизм») обвинил Палиевского в идеализации 30-х годов, бывших трагическими для нашей литературы. «Вы говорите, что «Тихий Дон» – лучший роман XX века, но кто это доказал? – спросил критик.

Критик Юрий Селезнев энергично восстал против призыва к примирению. «Мы живем в мирное время, но не имеем права забывать годы, когда был учинен погром в русской литературе.

Когда посторонний человек задается вопросом, почему разговор в ЦДЛ называют открытым, если состоялся он «в кругу семьи» и освещен в печати не был, то вместо ответа слышит вопрос: «А вы что, не знаете Россию?» Смысл этой фразы заключается в том, что в России тайное всегда становится явным.

Парижская газета «Монд» опубликовала 9.02.1978 года статью Жака Амальрика под названием «Неосталинистское наступление в Союзе писателей».

Собрание, организованное сторонниками «неосталинистской» фракции в Союзе писателей, прошло под знаком откровенно антисемитских выступлений и прославления «подлинно русского» искусства сталинской эпохи.

Последняя деталь, немало говорящая о смысле, который хотели придать своему собранию организаторы вечера 21 декабря: именно 21 декабря 1879 года в Гори родился некий Иосиф Виссарионович Джугашвили.

Израильский журнал «22» посвятил в 1980 году нашей дискуссии целый номер.

Из статьи В. Богуславского «В защиту Куняева»:

Главарями Октябрьской революции были авантюристы, полуинтеллигенты, недоучившиеся студенты и «экстерны», духовный багаж которых состоял из набора пропагандистских брошюр марксистского толка. Их армией – «солдатами революции» – стало откровенное быдло... Новый класс – это его, правящего быдла, дети, окончившие спецшколы, университеты и аспирантуры...

Задача Куняева – отодвинуть случайного Багрицкого со столбовой дороги, «заменив» вполне законным национальным конкурентом Сергеем Есениным», «В России действительно выросла своя собственная, русско-советская интеллигенция, и новая аристократия не ощущает более нужды в

жидовском (пардон – «сионистском») обслуживающем персонале. Катитесь! Игра окончена!..

Комментарий М. Хейфица из «22» назывался так: «Эдуард Багрицкий – растлитель России. Дух погрома в статье Ст. Кунаева». Хейфиц, надо отдать ему должное, откровенно и смело признался, что у евреев есть, как и у других народов, полное право иметь «своих негодяев». Автор даже, как это мне помнится, расширил круг негодяев, включив туда целую плеяду политиков, уничтоженных Сталиным, – от Троцкого до Ягоды... С такой откровенностью трудно было спорить, но я был удовлетворен, что вызвал своих соперников на открытый разговор <sup>2</sup>.

Не заставили себя ждать отклики по многочисленным «радиоголосам», появились и публикации искаженных стенограмм в «самиздатских» журналах, сопровождаемые статьями, не на шутку разгоряченные авторы которых обвиняли одних ораторов в «возрождении сталинизма», в «призыве к погромам», а других – в трусости и неумении дать достойный отпор «зарвавшимся черносотенцам» и сетовали, что власть недостаточно тверда, чтобы окоротить последних.

Помнится еще статья Наума Коржавина, в которой он приносил осторожное покаяние за преступления еврейских революционеров перед Россией, за что получил отповедь от Раисы Лерт в книге «На том стою», изданной лишь в 1991

---

<sup>2</sup> Цитаты из зарубежной прессы любезно предоставлены мне С. Н. Семановым из его архива.

году.

Покаянный пафос Коржавина или Хейфица мне непонятен. Сталинскую коллективизацию в числе прочих и такими же методами проводили и евреи – однако как еврейка я так же не могу взять на себя ответственность за это, как любой порядочный русский человек не мог отвечать за кишиневский погром и за дело Бейлиса, хотя организовывали и проводили их русские люди.

А куда было деваться Хейфицу и Коржавину, знавшим, к примеру, о документе, опубликованном в свое время в позже запрещенной и изъятой из всех библиотек книге о строительстве Беломорско-Балтийского канала?

Центральный исполнительный комитет Союза ССР, рассмотрев представление Совета народных комиссаров Союза ССР о награждении орденами Союза ССР наиболее отличившихся работников, инженеров и руководителей Беломорстроя, постановляет:

Наградить орденом Ленина:

1. ЯГОДУ Генриха Григорьевича – зам. председателя ОГПУ Союза ССР.
2. КОГАНА Лазаря Иосифовича – начальника Беломорстроя.
3. БЕРМАНА Матвея Давидовича – начальника Главного управления исправительно-трудовыми лагерями ОГПУ.
4. ФИРИНА Семена Григорьевича – начальника Беломорско-Балтийского исправительно-трудового лагеря и зам.

начальника Главного управления исправительно-трудовыми лагерями ОГПУ.

6. ЖУКА Сергея Яковлевича – зам. главного инженера Беломорстроя, одного из лучших и добросовестных инженеров, своим исключительным знанием дела и огромной трудоспособностью обеспечившего качественное выполнение проектных работ.

7. ФРЕНКЕЛЯ Нафталия Ароновича – пом. начальника Беломорстроя и начальника работ (совершившего в свое время преступление против государства и амнистированного ЦИК Союза ССР в 1932 году со снятием судимости), с момента начала работ на Беломорстрое и до конца обеспечившего правильную организацию производства работ, высокое качество сооружений и проявившего большое знание дела.

8. ВЕРЖБИЦКОГО Константина Андреевича – зам. главного инженера строительства (был осужден за вредительство по статье 58–7 и освобожден досрочно в 1932 году), одного из крупных инженеров, наиболее добросовестно относившегося к порученным ему работам.

Председатель Центрального исполнительного комитета Союза ССР М. Калинин

Секретарь Центрального исполнительного комитета Союза ССР Л. Енукидзе

Москва, Кремль, 4 августа 1933 г.

Куда было им деваться, если эту стройку века, этот громадный ГУЛАГ, в 1934 году в вышеупомянутой книге прославили их соплеменники Виктор Шкловский, Евгений Габрилович, Вера Инбер, Бруно Ясенский, Семен Гехт, Леопольд Авербах, Анна Берзинь, Лев Славин, Лев Никулин. Яков Рыкачев и многие другие вдохновенные романтики ГУЛАГа?

Ну как можно ответить на это бегство от ответственности за преступление против человечества?

Германию и немцев, как нацию, к примеру, заставили в Нюрнберге отвечать за преступления ее сыновей. Недаром в Маутхаузене среди множества памятников, которые каждая нация поставила своим мученикам, есть особый памятник из белого камня: с неподвижным лицом, слепыми глазами, с прямой, как доска, спиной сидят пожилая немка, или даже старуха, немецкая мать. На стеле рядом с ней надпись: «О Германия, бледнолицая мать, что же сотворили твои сыновья? Что ты сидишь здесь, как насмешка среди других народов или как страх?»

Надо, конечно, было бы пристыдить в свое время Раису Лерт, что русские люди к кишиневскому погрому не имеют никакого отношения, да и дело Бейлиса, закончившееся для подсудимого оправданием, ставить на одну доску с гибелью миллионов русских и украинцев во время коллективизации – кощунственно, но бог с ней. Тем более что несколько любопытных и даже проницательных комментариев к дискус-



сии еврейская активистка сделала.

Если бы Палиевский, Куняев, Кожинов и прочие говорили вполне открытым текстом, они могли бы возразить мне примерно так: «Вы говорите о статьях, литературных направлениях и т. п. А мы говорим об идеях, о моральных нормах, о гуманизме, о народности, всегда бывших традиционными для русской классики. Вот эта традиция и прервалась в 1917 году – и прервала ее революция. И вся русская поэзия и проза послеоктябрьского периода, и весь театр, и все искусство 20-х годов полярно враждебно русской классике и русскому народу, ибо полярно враждебна им революция и влившиеся с ней в русскую культуру «инородцы».

Куняев наиболее откровенно отбросил «литературные тонкости», которыми драпировались другие, – и в его выступлении наиболее «грубо, зримо» проявилась тенденция воинствующего национализма, национальной особенности – в противовес не осуществившемуся интернационализму 20-х годов.

Кое с чем из того, что здесь сказано, и можно было бы согласиться, хотя Раиса Лерт многое упрощает, а всей глубины и тонкости русско-еврейских отношений просто понять не смогла. Ума не хватило. Но что уж она сочинила от страха – так это миф о нашем тайном сотрудничестве с властью в 70-е годы:

«Но «инстанции» и «почвенники» очень хорошо друг друга понимают, и потому полуоткрытым текстом Куняеву

и другим дозволяется говорить все, что угодно, — лишь бы они укрепляли русскую национальную идею. Ибо в глубине души «инстанции», как и Сталин в 1941 году, возлагают на нее больше надежд, чем на свою нормальную пропаганду «зрелого социализма» и «развитой советской демократии». И они по-своему правы». «Дискуссия в ЦДЛ была своего рода «разведка боем», пробой сил, черновым смотром жизнеспособности официальной и неофициальной идеологии».

«Группа эта отлично знает, что опирается на поддержку сверху и что власть в ней нуждается... вот в таких образованных, интеллигентных способных выработать новую национальную идеологию».

А в это время, когда Лерт писала свою книгу, «образованные, способные, интеллигентные» русские националисты Владимир Осипов, Игорь Огурцов, Леонид Бородин уже тянули свои сроки, а новый шеф КГБ заявил, что западные диссиденты не страшны стране, что их, мол, всех «в одну ночь» взять можно, а вот русские националисты представляют из себя действительно серьезную опасность...

Поистине у страха глаза велики.

Юнна Пейсаховна Мориц (в 1960–1970-х годах она числила себя по отчеству «Петровной», как и Межиров, в годы перестройки ставший «Пинхусовичем») в газете «Русское слово» (17 июля 1990 г.) почти через тринадцать лет после дискуссии вспоминала о ней так:

Первым мероприятием, на котором отметились фашист-

вующие группы, была дискуссия «Классика и мы»... На этой дискуссии Куняев впервые начал разоблачать Багрицкого.

Все наши выступления были для власти как гром среди ясного неба. К сожалению. Помню, как Феликс Кузнецов (кстати говоря, много сделавший в последующие годы для укрепления русских позиций в Московской писательской организации) передавал мне яростное недовольство цеховских чиновников. Их скрежет зубовой слышался даже в его смягченном пересказе.

– С глаз долой! Пропадай куда-нибудь, Стасик, – заявил он мне. – Уходи в отпуск, хоть на два, хоть на три месяца.

Должен был я в те дни улетать в командировку на Кубу, но, естественно, меня тут же вычеркнули из списков делегации, и я поехал к матери, в родные калужские стены, писать стихи и бражничать с друзьями моей провинциальной юности.

Перед отъездом по каким-то делам зашел в кабинет Риммы Казаковой. Она поглядела на меня исподлобья:

– Слышала, слышала, как ты Багрицкого громил, кулацкие взгляды проповедовал.

В заключение сюжета хочу лишь сказать, что один из главных идеологов ельцинской эпохи, бывший министр культуры, а ныне чиновник от России в ЮНЕСКО, Сидоров, он же Пупсик, дирижировавший нашей дискуссией, в своем вступительном слове рассказывал о том, «что мы возьмем с собой в коммунистическое далеко», утверждал, что «лучшие книги последних лет прямо включают нашу социалисти-

ческую действительность в контекст общечеловеческих духовных и нравственных исканий», требовал «не забывать о классовых критериях нашей культуры» (цитирую по стенограмме).

Реститутка она и есть реститутка. Хотя при советской власти, хоть при рыночной демократии.

Легенды о дискуссии стали возникать буквально на следующий день. Перепуганные еврейские активисты, явно преувеличивая наши коварные способности, утверждали, что мы якобы специально выбрали для дискуссии 21 декабря – день рождения Сталина...

Однако это глупости. Дискуссия должна была состояться совершенно в другие сроки, но из-за каких-то внутренних соображений руководители Дома литераторов Филиппов и Шапиро сами перенесли ее на двадцать первое.

По Москве поползли слухи, что я племянник члена Политбюро, секретаря ЦК Компартии Казахстана Кунаева, потому-то и веду себя так нагло, что уверен в собственной безопасности.

Поэт Семен Сорин, автор ныне забытой поэмы о Дзержинском и ЧК, сочинил и пустил по Москве весьма остроумную и достаточно серьезную эпигramму:

Свершив террористический налет,  
Слиняли Палиевский и Куняев.  
Ах, был бы Феликс, взял бы негодяев!  
Но Феликс, к сожалению, не тот.

Да. И «Феликс» был уже не тот, и эпоха не та, о чем Семёну Сорину, Эфросу, Евтушенко, Борщаговскому, Раисе Лерт и прочим «интернационалистам» можно было только пожалеть.

В конце 1977-го и в 1978 году я в связи с дискуссией «Классика и мы» сблизился с весьма умной и, что не менее важно, решительной женщиной, способной на поступки, Татьяной Михайловной Глушковой. Между нами завязалась обильная переписка. Однажды она упрекнула меня, что в моей борьбе с «победителями» не хватает «чаадаевской» прививки, «капли гамлетизма», что «победители», по словам Багрицкого, тоже дали многое русской культуре. Я ответил ей большим страстным письмом, отрывки из которого хочу привести здесь.

...Чего-чего, а «презирать своих» (что Вы советуете) мы умеем, как никто. Допрезирались. Сто лет баловались «чаадаевщиной», столь милой Вам, и докатились до полного самоуничтожения. Отчаянно раздували угольки, в золе копались, пока не увидели – горим... Путь этот пройден до предела, до последнего шага. Второй раз начинать его по пепелищу?

О «победителях». На мой взгляд, «победители» делаются из материала несколько иного. Таковы были норманны для Британии, мавры для Испании, турки для Сербии, татары для России, русские для татар. Вот истинные победите-

ли, давшие взамен независимости побежденным приток молодой крови, свои мифы, свою религию, гены своей плоти и духа... Свои скулы и раскосые глаза, свою тоску по мировому господству, дворцы Толедо и Альпахары, государственность и Великую Хартию, завыванье ямщицкой песни и кодекс рыцарства. И подчинение таким победителям и сопротивление им – одинаково обогащали побежденных. К таким победителям я отношусь, «как аттический солдат, в своего врага влюбленный»... А эти?! Тьфу, нечистая сила, как говорила моя бабка. Вы думаете, Блок не понимал нашего диалога? Понимал, потому-то и написал «Скифы», а не что-либо иное. Потому-то около двухсот отрывков из его записных книжек и дневников не опубликовано до сих пор. «Победителям» – страшно. Блок шутить не любил. А ведь у него-то чувство исторической связи, взаимооплодотворяемости было феноменальным. Однако он любил называть вещи своими именами. А этого «победители» боятся, как черт ладана. Инстинкт слабых все время заставлял их скрывать свои победы, маскировать их, делать их якобы анонимными. Один Багрицкий проговорился... Какое уж искусство может быть при этой жалкой анонимности, о каком плодотворном кровосмешительстве может идти речь... Все это стало достоянием гласности – не государственной (поскольку завоевание тоже было не гласным, скрытым, постепенным), а общественной лишь в последние годы. Если бы эта гласность приняла какие-то государственные формы, наш диалог был бы

невозможен: я не стал бы в нем участвовать. Но, слава богу, видимо, государство не станет вмешиваться в эти дела. Да и инструментов для этого у него нет, Так что это наше дело. Внутреннее, постепенное, естественное. Как завоевание шло тайными путями, так же скрытно от глаз (чтобы не приобрести безобразные формы) должна идти и реконкиста...

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.